

Ходасевич Владислав Фелицианович

ДАКТИЛИ

1

Был мой отец шестипалым. По ткани, натянутой туго,
Бруни его обучал мягкою кистью водить.
Там, где фиванские сфинксы друг другу в глаза загляделись,
В летнем пальтишке зимой перебежал он Неву.
А на Литву возвратясь, веселый и нищий художник,
Много он там расписал польских и русских церквей.

2

Был мой отец шестипалым. Такими рождаются счастливыцы.
Там, где груши стоят подле зеленой межи,
Там, где Вилия в Неман лазурные воды уносит,
В бедной, бедной семье встретил он счастье свое.
В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы.
Мама! Молитва, любовь, верность и смерть - это ты!

3

Был мой отец шестипалым. Бывало, в сороку-ворону
Станем играть вечером, сев на любимый диван.
Вот, на отцовской руке старательно я загибаю
Пальцы один за другим - пять. А шестой - это я.
Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой
Тех пятерых прокормил - только меня не успел.

4

Был мой отец шестипалым. Как маленький лишний мизинец
Прятать он ловко умел в левой зажатой руке,
Так и в душе навсегда затаил незаметно, подспудно
Память о прошлом своем, скорбь о святом ремесле.
Ставши купцом по нужде - никогда ни намеком, ни словом
Не поминал, не роптал. Только любил помолчать.

5

Был мой отец шестипалым. В сухой и красивой ладони
Сколько он красок и черт спрятал, зажал, затаил?
Мир созерцает художник - и судит, и дерзкою волей,
Демонской волей творца - свой созидает, иной.
Он же очи смежил, муштабель и кисти оставил,
Не созидал, не судил... Трудный и сладкий удел!

6

Был мой отец шестипалым. А сын? Ни смиренного сердца,
Ни многодетной семьи, ни шестипалой руки
Не унаследовал он. Как игрок на неверную карту,
Ставит на слово, на звук - душу свою и судьбу...
Ныне, в январскую ночь, во хмелю, шестипалым размером
И шестипалой строфой сын поминает отца.

Январь 1927 - 3 марта 1928, Париж

* * *

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России - пасынок, а Польше -
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, -
И в них вся родина моя.

Вам - под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.

Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был - шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне. *25 апреля 1923, Saarow*

* * *

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

Но памятни мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться и молчать.

Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек сильнее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва». *1917*

* * *

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

И вот, Россия, "громкая держава",
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой - твой чудотворный гений,
И поприще - волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.

1922

ОКНА ВО ДВОР

Несчастный дурак в колодце двора
Причитает сегодня с утра,
И лишнего нет у меня башмака,
Чтобы бросить его в дурака.

.

Кастрюли, тарелки, пьянино гремят,
Баюкают няньки крикливых ребят.
С улыбкой сидит у окошка глухой,
Зачарован своей тишиной.

.

Курносый актер перед пыльным трюмо
Целует портреты и пишет письмо, -
И, честно гонясь за правдивой игрой,
В шестнадцатый раз умирает герой.

.....

Отец уж надел котелок и пальто,
Но вернулся, бледный, как труп:
- Сейчас же отшлепать мальчишку за то,
Что не любит луковый суп!

.....

Небритый старик, отодвинув кровать,
Забивает старательно гвоздь,
Но сегодня успеет ему помешать
Идущий по лестнице гость.

.....

Рабочий лежит на постели в цветах.
Очки на столе, медяки на глазах.
Подвязана челюсть, к ладони ладонь.
Сегодня в лед, а завтра в огонь.

.....

Что верно, то верно! Нельзя же силком
Девчонку тащить на кровать!
Ей нужно сначала стихи почитать,
Потом угостить вином...

.....

Вода запищала в стене глубоко:
Должно быть, по трубам бежать не легко,
Всегда в тесноте и всегда в темноте,
В такой темноте и в такой тесноте!

.....

1924

РЯЖЕННЫЕ

Мы по улицам темным
Разбежимся в молчании.
Мы к заборам укромным
Припадем в ожидании.

..."Эй, прохожий! прохожий!
Видел черта рогатого,
С размалеванной рожей,
Матерого, мохнатого?"

Ветер крепок и гулок.
Снег скрипит, разметаётся...
Забегу в переулок -
Там другие шатаются.

В лунном отсвете синем
Страшно встретиться с ряженым!
Мы друг друга окинем
Взором чуждым, неслаженным.

Самого себя жутко.
Я - не я? Вдруг да станется?
Вдруг полночная шутка
Да навеки протянется?

1 января 1906, Лидино

SANCTUS AMOR [Святая любовь (лат.)]

Нине Петровской

И я пришел к тебе, любовь.
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня старый посох вновь
Пучком веселых лент покрылся.

И, как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаще слив,
Среди изрезанных скамеек.

Тенистый парк, и липы цвет,
И всё - как в старых песнях пелось,
И ты, шепча "люблю" в ответ,
Как дева давних лет, зарделась...

Но миг один - и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана...

И снова ровен стук сердец;
Кивнув, исчез недолгий пламень,
И понял я, что я - мертвец,
А ты лишь мой надгробный камень.

8 октября 1906 - 8 января 1907

* * *

Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню...

Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?

Время жалоб не услышит?
Руки вскину к синеве, -

А уже рисунок вышит
На исколотой канве.

12 декабря 1907, Москва

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРФЕЯ

О, пожалейте бедного Орфея!
Как скучно петь на плоском берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!

Еще ручьи лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.

И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.

Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?

Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стенаний
На берега земных веселых рек!

О, пожалейте бедного Орфея!
Как больно петь на вашем берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!

20 февраля 1910

ДОМ

Здесь домик был. Недавно разобрали
Верх на дрова. Лишь каменного низа
Остался грубый остов. Отдыхать
Сюда по вечерам хожу я часто. Небо
И дворика зеленые деревья

Так молодо встают из-за развалин,
И ясно так рисуются пролеты
Широких окон. Рухнувшая балка
Похожа на колонну. Затхлый холод
Идет от груды мусора и щебня,
Засыпавшего комнаты, где прежде
Гнездились люди...
Где ссорились, мирились, где в чулке
Замызганные деньги припасались
Про черный день; где в духоте и мраке
Супруги обнимались; где потели
В жару больные; где рождались люди
И умирали скрытно, - все теперь
Прохожему открыто. - О, блажен,
Чья вольная нога ступает бодро
На этот прах, чей посох равнодушный
В покинутые стены ударяет!
Чертоги ли великого Рамсеса,
Поденщика ль безвестного лачуга -
Для странника равны они: все той же
Он песенкою времени утешен;
Ряды ль колонн торжественных, иль дыры
Дверей вчерашних - путника все так же
Из пустоты одной ведут они в другую
Таковую же...

Вот лестница с узором
Поломанных перил уходит в небо,
И, обрываясь, верхняя площадка
Мне кажется трибуною высокой.
Но нет на ней оратора. - А в небе
Уже горит вечерняя звезда,
Водительница гордого раздумья.

Да, хорошо ты, время. Хорошо
Вдохнуть от твоего ужасного простора.
К чему таиться? Сердце человечье
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
Тут разверзаются, как небо, времена -
И человек душой неутолимой
Бросается в желанную пучину.

Как птица в воздухе, как рыба в океане,
Как скользкий червь в сырых пластах земли,
Как саламандра в пламени - так человек
Во времени. Кочевник полудикий,
По смене лун, по очеркам созвездий
Уже он силится измерить эту бездну

И в письменах неопытных заносит
События, как острова на карте...
Но сын отца сменяет. Грады, царства,
Законы, истины - преходят. Человеку
Ломать и строить - равная услада:
Он изобрел историю - он счастлив!
И с ужасом, и с тайным сладострастьем
Следит безумец, как между минувшим
И будущим, подобно ясной влаге,
Сквозь пальцы уходящей, - непрерывно
Жизнь утекает. И трепещет сердце,
Как легкий флаг на мачте корабельной,
Между воспоминаньем и надеждой -
Сей памятью о будущем...

Но вот -
Шуршат шаги. Горбатая старуха
С большим кулем. Морщинистой рукой
Она со стен сдирает паклю, дранки
Выдергивает. Молча подхожу
И помогаю ей, и мы в согласьи добром
Работаем для времени. Темнеет,
Из-за стены встает зеленый месяц,
И слабый свет его, как струйка, льется
По кафелям обрушившейся печи.

1919-1920

ПУТЕМ ЗЕРНА

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет - и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, -

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

1917

2-го НОЯБРЯ

Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь - и обессилив, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля...
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробоины в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро.
А между тем уж из конца в конец.,
От Пресненской заставы до Рогожской
И с Балчуга в Лефортово, брели,
Теснясь на тротуарах, люди. Шли проведать
Родных, знакомых, близких: живы ль, нет ли?
Иные узелки несли под мышкой
С убогой снедью: так в былые годы
На кладбище москвич благочестивый
Ходил на Пасхе - красное яичко
Съесть на могиле брата или кума...

К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, -
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.
По переулкам ветер, гость залетный,
Гонял сухую пыль, окурки, стружки.
Домов за пять от дома моего,
Сквозь мутное окошко, по привычке
Я заглянул в подвал, где мой знакомый
Живет столяр. Необычайным делом
Он занят был. На верстаке, вверх дном,
Лежал продолговатый, узкий ящик
С покатыми боками. Толстой кистью
Водил столяр по ящичку, и доски
Под кистью багровели. Мой приятель

Заканчивал работу: красный гроб.
Я постучал в окно. Он обернулся.
И шляпу сняв, я поклонился низко
Петру Иванычу, его работе, гробу,
И всей земле, и небу, что в стекле
Лазурью отражалось. И столяр
Мне тоже покивал, пожал плечами
И указал на гроб. И я ушел.

А на дворе у нас, вокруг корзины
С плетеной дверцей, суетились дети,
Крича, толкаясь и тесня друг друга.
Сквозь редкие, поломанные прутья
Виднелись перья белые. Но вот-
Протяжно заскрипев, открылась дверца.
И пара голубей, плеща крылами,
Взвилась и закружилась: выше, выше,
Над тихую Плющихой, над рекой...
То падая, то подымаясь, птицы
Ныряли, точно белые ладьи
В дали морской. Вослед им дети
Свистали, хлопали в ладоши... Лишь один,
Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,
Присел на камень, растопырил руки,
И вверх смотрел, и тихо улыбался.
Но, заглянув ему в глаза, я понял,
Что улыбается он самому себе,
Той непостижной мысли, что родится
Под выпуклым, еще безбровым лбом,
И слушает в себе биенье сердца,
Движенья соков, рост... Среди Москвы,
Страдающей, растерзанной и падшей,
Как идол маленький, сидел он, равнодушный,
С бессмысленной, священной улыбкой.
И мальчику я поклонился тоже.

Дома

Я выпил чаю, разобрал бумаги,
Что на столе скопились за неделю,
И сел работать. Но. впервые в жизни,
Ни "Моцарт и Сальери", ни "Цыганы"
В тот день моей не утолили жажды.

1918

ОБЕЗЬЯНА

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке

Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня слышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив -
Не холодна ли, - блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И - этот миг забуду ли когда? -
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождем народа - ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину - до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось - хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.

И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишенное лучей,

В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.
В тот день была объявлена война.

1919

* * *

С берлинской улицы
Вверху луна видна.
В берлинских улицах
Людская тень длинна.

Дома - как демоны,
Между домами - мрак;
Шеренги демонов,
И между них - сквозняк.

Дневные помыслы,
Дневные души - прочь:
Дневные помыслы
Перешагнули в ночь.

Опустошенные,
На перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое
Тогда выходим мы.

Нечеловечий дух,
Нечеловечья речь -
И песьи головы
Поверх сутулых плеч.

Зеленой точкою
Глядит луна из глаз,
Сухим неистовством
Обуревая нас.

В асфальтном зеркале
Сухой и мутный блеск -
И электрический
Над волосами треск.

1923

* * *

Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась -

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг - а иной.

1923

* * *

Все каменное. В каменный пролет
Уходит ночь. В подъездах, у ворот -

Как изваянья - слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,

Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина -

И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов. 1923

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот - это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, -
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, -
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем - так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины - к причине,
А глядишь - заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами -
Только есть одиночество - в раме
Говорящего правду стекла. 1924

ПОХОРОНЫ. Сонет

Лоб -
Мел.
Бел
Гроб.

Спел
Поп.
Сноп
Стрел -

День
Свят!
Склеп
Слеп.

Тень -
В ад?

9 марта 1928, Париж

* * *

Нет ничего прекрасней и привольней,
Чем навсегда с возлюбленной расстаться
И выйти из вокзала одному.
По-новому тогда перед тобою
Дворцы венецианские предстанут.
Помедли на ступенях, а потом
Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,
Вдохни свободно запах рыбы, масла
Прогорклого и овощей лежалых,
И вспомни без раскаянья, что поезд
Уж Мэстре, вероятно, миновал.
Потом зайди в лавчонку banco lotto {*}, {* Лотерейная контора (ит.).}
Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
Пройдись по Мерчери, пообедай
С бутылкою Вальполичелла. В девять
Переоденься, и явись на Пьяцце,
И под финал волшебной увертюры
Тангейзера - подумай: "Уж теперь
Она проехала Понтеббу". Как привольно!
На сердце и свежо и горьковато. <1925-1926>

* * *

Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.

Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом.
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я - чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, -
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я - не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон...
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!

1923

СЛЕПОЙ

Палкой щупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
А на бельмах у слепого
Целый мир отображен:
Дом, лужок, забор, корова,
Клочья неба голубого -
Все, чего не видит он.

1923

* * *

Сквозь дикий грохот катастроф
Твой чистый голос, милый зов
Душа услышала когда-то...

Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать, -
Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью - одно.
Когда и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаем -
Что ж? Погибаем мы от пеня
Или от гибели поем?

А нам простого счастья нет.
Тому, что с песней рождено,
Погибнуть в песне суждено...

<1926-1927>

Н.Н. Берберова, Курсив мой.

Сама я сквозь всю жизнь пронесла любовь к Товию, несущему рыб, идущему в ногу с Ангелом. Многие менялось в моих вкусах: я разлюбила поздний Ренессанс (после 1500 года), я разлюбила французский восемнадцатый век, я прохожу мимо Тинторетто и Карпаччио, но Товий во всех видах неизменно восхищает меня. Я люблю «Товия, несущего рыб» и у Пьетро да Козимо, и у Ботичини, и у Тициана, и у Чимы да Конельяно, и у Верроккио, и даже у Гварди, у которого и Товий, и Ангел еще не идут, а только собираются уходить и прощаются: Ангел впереди, Товий чуть следом за ним и под руку, не за руку (это – вторая картина в серии «История Товия» в церкви св. Рафаэля в Венеции). У Ботичини ангельский шаг – широк и воздушен, у Тициана Товий шагает не в ногу, очевидно, не может поспеть; чаще всего он, маленький и серьезный, шагает рядом с огромным, спешащим к определенной цели, а не просто так себе гуляющим Ангелом, босым, с мускулистыми ногами и отогнутым большим пальцем на ноге. Ангел крепко держит в своей «настоящей» руке детскую руку Товия. Собака неопределенной породы тихонько бежит за ними. Но перед тем, как подробнее сказать о них обоих, я напомним апокриф:

Старый слепой Товит (из рода Нафтали) был когда-то пленником в Ниневии. Он оставил десять серебряных талантов у Габаэля, брата Габрина, в Мидии. Двадцать лет прошло. Расписку разорвали тогда надвое. Товит хранил свою половину. Он решил послать сына своего, Товия, к Габаэлю за десятью талантами. Надо было найти молодому Товию спутника. Нашли ангела Рафаэля. Ходу до Мидии было два дня.

Рафаэль сказал: Я – Азария, сын Анания Великого. Товит обещал платить ему одну драхму в день на всем готовом, если он поведет Товия к Габаэлю и приведет его обратно. Он обещал награду. Мать спросила: кто пойдет с нашим сыном? Отец ответил: добрый ангел. Он знает дорогу.

Пошли втроем с собакой.

Ночью на берегу Тигра Товию захотелось вымыть ноги. Большая рыба выскочила из реки и хотела откусить ему ногу. Он громко закричал. Ангел сказал: не бойся. Схватил рыбу рукой. И по совету Рафаэля Товий разрезал рыбу, отделил печень и сердце – это были важные лекарства.

Кишки выбросили.

Часть рыбы зажарили, часть засолили. Какие же это были лекарства?

Печень и сердце – от злых духов.

Желчный пузырь – от слепоты.

Прошли через Экбатан. В доме Рагуэля жила Сарра, и Рафаэль посоветовал Товию взять ее в жены.

Но дьявол уморил уже семь женихов Сарры.

Рафаэль велел Товию бросить в огонь первое лекарство.

Дьявол исчез.

Тогда на радостях устроили пир.

Получили в Мидии десять талантов по расписке, составленной из двух половинок.

Пошли обратно, втроем с собакой.

Принесли второе лекарство старому Товиту. И он прозрел.

Привезли Сарру. И прожили 117 лет.

Я знаю, почему так люблю этот сюжет Ренессанса: я целиком идентифицируюсь и с Товием, и с Ангелом. Смотря на Товия, я вижу себя, внимательно несущую рыб,

доверчиво марширующую вдоль низкого горизонта, раз-два, раз-два, башмачки туго зашнурованы, обруч держит мои волосы, чтобы их не растрепал ветер. И я смотрю на Ангела, и тоже вижу себя: сандалии ловко обхватывают мои ноги, широкие лопасти одежды выются вокруг моих бедер, лицо обращено вперед, словно у той фигуры, которую ставят, вырезанную из дерева, на бушприт корабля, идущего в далекое странствие, – и которая есть самый яркий и постоянный образ моей личной символики. В лице уверенность, бесстрашие, цель – это лицо Ангела, я сливаюсь с ним в моем воображении, я держу за руку кого-то и веду. И мне не страшно быть Ангелом, потому что я одновременно и маленький человек, вернее – человек, ведомый этим Ангелом-гигантом вдоль тосканского горизонта: облака в небе клубятся, как мои одежды, и мне начинает казаться, что этот поход маленького и большого – мой собственный поход по жизни, в котором я вдруг так счастливо раздвоилась, зная, что я соединяю обоих: Товий – это все, что во мне боится и неуверенно, не смеет, не знает, все, что ошибается, сомневается, все, что надеется, все, что болеет и тоскует. А Ангел, в полтора раза больше человеческого роста, это все остальное, куда входит и восторг жизни, и чувство физического здоровья, и равновесие, и моя несокрушимость, и отрицание усталости, слабости, старости.

КОНЕЦ РЕНАТЫ.

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская.

Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное -- вовсе и не хотела " истратить " на литературу. Однако, в жизни литературной Москвы, между 1903-1909 г.г., она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако, прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и не занимательна.

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно - творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, -- найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недоовплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недоовплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой "утечки" в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание "человек" и "писатель". Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее -- "писатель" побеждал "человека". Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить -- литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, жизненного порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей "дар писать" и "дар жить" расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые "Будем как Солнце", Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: „Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности". Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций -- и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающей "поэму" не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, -- в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить -- неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной

Я сделал трепет без конца...

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества -- ничего. Искуснее и решительнее других создала она "поэму из своей жизни". Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 г. Мы познакомились в 1902. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубо врачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождалась драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала „литературной эпохи" в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу "Скорпиона" и "Грифа".

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратное: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это "символическое измерение". То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, "очертить ее природный характер". Блок, приезжавший в 1904 г. знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: "Очень мила, довольно умная". Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи -- всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. "Все или ничего", могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше, как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это -- вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме "саморазвития". Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении -- он не предуказывал, предуказывать не хотел да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение -- безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью -- идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все "переживания" почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. "Личность" становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, -- "миги", по выражению Брюсова: "Берем мы миги, их губя".

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода -- на мешках накопленных "переживаний". Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного "переживания" влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой -- к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, -- но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. "Истекаю клюквенным соком!" кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью.

Декадентство, упадочничество -- понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма -- были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть -- и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным -- и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как "любовь к любви".

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие "увлечения" было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно - эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь "вечной" -- можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода, -- это много. Была "довольно умна", как сказал Блок, была "чувствительна", как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же -- очень умела "попадать в тон". Она тотчас стала объектом любви.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное -- уже воспринятое учение о "мигах". Пора было начать "переживать". Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок -- нечто вроде похмелья. Нина решила "очистить душу", в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым "оргазмом". Она отреклась от "Греха", облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более "переживанием покаяния", чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражающими новизной, дерзостью, иногда -- проблесками истинной гениальности. Другое дело -- как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния -- не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он "бежал от соблазна". Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она -- предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, -- укорять, обличать, оскорблять: „Сударыня вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны“.

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в „символическое измерение“, продолжала и развиваться в нем же.

Осенью 1904 г. я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

-- Вот как? -- отрезал он: -- что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменялся, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой облеченной в Солнце "томиться и скрежетать". Следственно, теперь Нина, ее соперница, из "хорошей хозяйки" превращалась в нечто значительное, облакалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз -- против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним -- способа "отомстить" Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, -- не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое вдовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он, ведь, знал, что в "великий век вдовства" ведьмами почитались и сами себя почитали -- истерички. Если ведьмы XVI столетия "в свете науки" оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года, в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже) :

-- Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому "по правде сказать" я несколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией "мигов". Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе "Огненный Ангел", с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты -- Нину Петровскую, а под именем Рупрехта -- самого себя (1).

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал "конец" под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом.

Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже, примерно, 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты.

Теперь перед ней встала грозная опасность -- утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с "прохожими", как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. "Прохожих" она презирала и оскорбляла. Однако, все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их "подобно ядрам из баллисты", как сказано в "Огненном Ангеле", при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: "в ссылку", по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен - Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. "Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro -- Рената" писала она мне.

Брюсова она возненавидела: "Я задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почему я знала -- какие другие, -- Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением".

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее не мало друзей. Помогали ей, как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись:

Нина Ивановна Петровская "умирает". Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово "умирает" он написал в кавычках?

Нина в те дни, действительно, умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово "умирает" поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой.

Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать
Собиралась помирать.
Помереть не померла --
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: "Кажется, больше не могу". 7 апр. 1925: „Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще". 8 июня 1927: "Клянусь Вам, иного выхода не может быть". 12 сентября 1927: "Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится". 14 сентября 1927: "На этот раз я скоро должна скончаться".

Это -- в письмах последней эпохи. Препных у меня нет под рукою. Но всегда было то же -- и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное -- "поэму из своей личности". Конец личности, как и конец поэмы о ней, -- смерть. В сущности поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается "Огненный Ангел". С тех пор, и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 г., уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя длила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой -- себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

[Версаль, 1928.]
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание "Петербурга", Андрей Белый на нем написал: "С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь".

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к

тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю -- исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому "возвышающему обману" хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик -- Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам -- феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам - гимназистам -- учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, "дитя играющее", катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал:

"Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня". За этими шутивными словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте, (уже в начале девятисотых годов) Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его:

"Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?" -- "Это мой папа", отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павлова Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница "Русского Богатства", в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К. Е. Маковского "Боярская свадьба", где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны -- одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, захав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александрю Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась перед зеркалом, приговаривая: "А право же, я ведь еще хоть куда!" В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми "земными" желаниями. Отсюда -- столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности "Котика Летаева". Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в "Петербурге", и в "Котике Летаеве", и в "Преступлении Николая Летаева", и в "Крещеном китайце", и в "Московском чуде", и в "Москве под ударом" завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это -- варианты драмы, некогда разыгранной в семье Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схожее с действительностью в "Петербурге". Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с "Петербурга", все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и в сущности служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве (4).

Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и -- смею сказать -- потрясены происходившими в доме Бугаевых "житейскими грозами", как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком или песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоты от швыряемой об пол керосиновой лампы, -- и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содомы и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: не даром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, прямой плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью -- и наоборот. "Раздираемый", по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначуще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть -- добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему "материнскому"), а от матери любовь к отцу (и ко всему "отцовскому") -- и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он

переносить на других людей -- и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, кото-рую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно -- вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обли-чать -- внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек стано-вился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему "изнанкою правды", а в откровенностях помалкивал "о последнем".

В сущности, своему "раздиранию" между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником -- мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все "позитивное", близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями -- "иначе и жить нельзя". К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Не даром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее -- в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако, в этой области с особенною наглядностью про-являлась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящую всякую мысль о каких либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратное: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед "падением" ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, -- но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все - таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому -- и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось "Золо-тое Руно", однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за

ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

-- Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение "Предание", в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому "Преданию" Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

-- Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, при-творяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

-- Ужасно похоже, Валерий Яковлевич! И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

-- Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встретились, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились -- при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

В 1904 г. Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить не мало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать -- оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшую то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, много-образными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекла с которыми порой тесно переплеталась и на которые в свою очередь влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете -- во всей истории символизма. Многое в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов,

нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она ока-залась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбежная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и "дурно" поняли, -- и то же самое объявил даме, которая, вероятно, не мало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием.

Следствие беловского отступления не трудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по настоящему, всем существом и по моему глубокому убеждению -- навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, -- кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа -- порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей -- и вернулся с неутоленным страданием и "Кубком метелей" -- слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.

В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней -- и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого "стилизованные" рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву -- она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера -- признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: "Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот -- крупных и мелких. Крупные касаются Любы (Любовь Дмитриевна, жена Блока. В. Х.), Натальи Николаевны (Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена "Снеж-ная Маска". В. Х.) и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен". Наконец, Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного собрания, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был "Изумруд"), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

-- Меня все зовут бедная Нина. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, шупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделяваться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве.

Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей "провокации" в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объясни-лись, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно "совсем петербургское место", как он выразился. Мы приехали куда - то в конец Измайловского проспекта. То был низко-сортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и няядами. Потом при-суждались премии за лучшие костюмы -- вышел небольшой скандал, кого - то обидели, кто - то ругался. Мы спросили вина и просидели в "совсем петербургском месте" до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в „Вене" с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

-- Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

-- Меня надо звать бедная Нина. Мы с Белым переглянулись -- о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед -- в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в "совсем петербургском месте". Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов „Петербурга".

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два -- и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с нею, ни без нее.

Четыре года, протекшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им „Пепел", писались "Урна", "Серебряный Голубь", важнейшие статьи "Символизма". На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании -- никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, -- однажды на сцене Литературно -Художественного Кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. За то в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у Храма Христа Спасителя, в Ново - Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Раз-умовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен: gemЭtlich -- по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные им-провизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющие. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и

комизмом изображал в лицах. Случалось -- читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы "Серебряного Голубя". То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инстру-ментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 г., когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

-- Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разгра-фленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

-- Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра раз-нятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. "Мой дядя самых честных правил" -- четыре ударения, а „И кланялся непринужденно" -- два: ритмы разные, а метр все тот же, четырех-стопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике при-своено имя Андрея Белого. Это открытие в даль-нейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них было труднее. Однако, у меня с Белым тотчас нача-лись препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати "Пепел" и „Урну" -- и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испор-чены. Сколько ни спорил я с Белым -- ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания вести не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составил при издательстве „Мусагет". Вне-смысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудиро-вать Канта -- особ, которым совсем не того хотелось.

-- Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над "Критикой чистого разума"!

Или:

-- Ах, что за прелесть эта милейшая мад-муазель Штаневич! Я от нее в восторге!

-- Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

-- Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять: -- Ах, мадмуазель Штаневич!

-- Борис Николаевич! Станевич!

-- Боже мой! Неужели? Какое несчастье!

А у самого глаза веселые и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: "Б. Н. Бугаев занят и просит не беспокоить".

-- Это я от девиц, -- объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив.

Мне жаловался: "Надоел Пастернак".

Полагаю, что Пастернаку -- "Надоел Ходасевич".

Однажды -- чуть ли не в ярости: -- Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! -- А сам в то же время писал ей длинейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 г. я поселился в деревне, и мы стали реже видаться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что, наконец, он счастлив.

В тот вечер, когда в Москве, получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н. А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне -- рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовища, которые были и под-стрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне; чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожеления, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с "Петербурга" и кончая "Москвой под ударом", полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, т. е. с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением "Серебряного Голубя". Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В "Котике Летаеве", в "Преступлении Николая Летаева" и в "Крещеном китайце" Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 г. г. связаны только "Петербург", "Московский чудак" и "Москва под ударом". Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. "Московского чу-дака" и "Москву под ударом" Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет "свободную по существу науку", против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной "концепции" Белому не было никакого дела. Его истинной целью было -- дать

очередной вариант своей излюбленной темы о Преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал "социальный заказ". Замечательно, что "Московский чудак" и "Москва под ударом" должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был закончен, так же, как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть -- о Преступлении сына против отца.

Только в "Петербурге", самом раннем из романов этой "эдиповской" серии, тема революции 1905 года действительно занимала Благо. Однако, по его собственным словам первая мысль связать личную тему с политической возникла и в "Петербурге" потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру "Петербурга" в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая -- политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она - то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

"Петербург" был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то - есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать -- его чувство, на единство источника.

Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Сааров, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, -- должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел :

-- Кто это?

-- Ночной сторож.

-- Ага, значит -- полиция? За нами следят?

-- Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги -- сторож отстал. На нашу беду в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколом. Наконец, он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях.

Чтобы прокор-мить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцовском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), испи-сывая вороха бумаги, которые, наконец, где - то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал "Записки чудака", книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге. Весной 1921 г. переселился туда и он, там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана "Вена", где, почти четырнад-цать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе, у Иванова - Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки -- теперь уж по петербургским набережными В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как - то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму "Первое свидание" -- лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы -- да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне -- для пятого выпуска "Записок Мечтателей". То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге -- из этого тоже ничего не вышло да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал "по секрету", что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и разумеется -- доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему оби-тателями Дорнаха.

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все - таки объясниться, кое - что выяснить в отношениях. Потому - то и рвался за границу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что - то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям - антропософам и их руководителю, „на плече, которого некогда возлежал", о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя -- послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом нестоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается "посольства", дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими пре-ходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем, дело как раз шло к рапалльскому договору...

Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему, опять же, могли быть не только политические причины). Наконец, в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел -- и услышал подчеркнуто-обывательский вопрос, заданный отечески-снисходительным тоном:

-- Na, wie geht's?

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

-- Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, не-далеко от кладбища, в доме какого-то гро-бовщика (5). Мы встретились летом 1922 г., когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще боле выцвели -- стали почти что белыми.

С осени он переехал в город -- и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмеялись слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои "вариации" -- искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную.

Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказы-вались -- в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужа, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому -- чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслию возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund-е и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, он сказал мне:

-- Хочется вот поехать в Дорнах, да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил, как на углях. Свои страдания он "выкрикивал в форточку" -- то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедывался, выворачивая душу, кому по-пало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливый пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen. болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала.

Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor -- не простой человек. Возвращаясь домой, раз-девался он до гола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие -- с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать

двоих; С. Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастью, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Бер-лине Нина Петровская, сама полу - безумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким - то чудом работал -- чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перероставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: "Начало века".

Иногда его прорывало -- он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне, одну историю. После пятого повторения (каждое -- минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: "Пусть же, я вам хочу рассказать..."

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, тепе-решняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображению многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую рану.

К весне он стал все - таки уставать, С горькой улыбкой говорил: "Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?" Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел:

"Хочет меня на себе женить". -- Да ведь вы сами хотите жениться? -- "Не на ней! -- яростно хрипел он, -- к чорту! Тетка антропософская!"

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил -- и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного "в постель уложить". Во - вторых -- потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: "Помните, что мы здесь вас любим!"

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полу - эмигрантами

(многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще -- искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы, ему пришлось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать.

Один из них, некто Г., сказал об этом М. О. Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел -- рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) -- в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: "Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком". В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас "пойти на распятие". Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого "мандата" ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, " всю жизнь " я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что "распяться" за нас он не будет. Напротив...

По существу он был неправ -- даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину, мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его -- несмотря на все я поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К. Н. Васильевой, некоторое время вел антро-пософскую работу. Летом 1923 г., в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию -- свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале "Эпопее", навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием "На рубеже двух столетий". За ним, под заглавием "Начало века", последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, вырвавшаяся из

воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, „вычищен, как самовар“. В Москве Белый решил исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока -- и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, "Между двух революций", появившийся только в конце 1937 г., т. е. почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна свое-образная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии -- все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь, как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей "между двух революций", он не только перед большевиками, -но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с "гидрой капитализма". Между тем, объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать, как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей -- и им бы не сдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарικатурировал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более -- на персонажей "Петербурга" или "Москвы под ударом". Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника -- и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квази- исторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя, как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же "серия небывших событий", как его автобиографические романы (6).

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее -- не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи :

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

Париж. 1934-1938.

МУНИ

1. Я все таки был.

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень „сам по себе“, он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятьсот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли "фон" тогдашних событий. Однако ж, по личным свойствам он не был "человеком толпы", отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть "типом". Он был симптом, а не тип.

Мы познакомились в конце 1905 г. Самуил Викторович жил тогда в Москве, "бедным студентом", на те двадцать пять рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике "Зори", под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни (хотя под конец он стал подписываться: С. Киссин). Так буду и я называть его здесь.

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно "открыли" друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года, в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд-военные чиновники и скончался в Минске, 28 марта 1916 года. След, им оставленный в жизни, как и в литературе, не глубок. Но -- незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне: -- Заметь, что я все таки был.

2. Предвестия упраздняются.

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе -- тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство. Буржуа, вдруг ощутивший волю к "дерзаниям", накинулся на "вопросы пола". Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже не легко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначущим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, расплываясь в сознании,

становилась сквозной. Мы жили в реальном мире -- и в то же время, в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было "то, да не то". Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он не легко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, -- мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали, как предвестия. Чего?

Как и многим тогда, нам казалось, что вскоре должны "наступить события". Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были, окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними. Но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за "скептицизм" и "карканье". В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно:

Стихами Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В "лесу символов" мы терялись, на "качелях соответствий" нас укачивало. "Символический быт", который мы создали, т. е. символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, -- играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика.

Мы с Муни сидели в ресторане "Прага", зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубашке и в белых штанах. Немного спустя из за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек -- перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись :

-- А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение -- второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал :

-- Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается.

В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.

-- Да, что там! Видишь, вон та коляска; У нее сейчас сломается задняя ось.

Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой.

-- Ну, что же? -- сказал я. -- Что-то не ломается.

Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посередине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его.

В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В. Ф. Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни:

-- А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?

-- Попробуйте.

-- Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В. М. Антик был издателем желтых книжек "Универсальной Библиотеки". Все трое мы в ней работали).

-- Что ж, пожалуйста, -- сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик.

Муни сказал Ахрамовичу с укором :

-- Эх, вы! Не могли пожелать Мессию.

Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял :

-- Предвестия упрядняются.

Он надевал синие очки, "чтобы не видеть лишнего", и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развивающимся рецептом...

3. Из неоконченного (d'inachevé).

Муни не был ленив. Но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его: открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, -- перед Муни возникал образ какого то недостижимого совершенства, -- и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись -- за все надобно было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено.

Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил что у него, как у Козьмы Пруткова, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью: „Из неоконченного (d'inachevéИ) ".

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым, -- во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, -- он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня, только Б. К. Зайцев да покойный С. С. Голоушев (Сергей Глаголь) умели к нему подойти с любовью. А он в ней очень нуждался.

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне -- в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прислушав, он говорил :

-- Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом -- смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что "это не так уж плохо". Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал :

-- Боже, какая дрянь! Или:

-- Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?

И начинал разбор, подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни, наконец, говорил:

-- Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши: Николай Поярков.

(Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете).

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу „едкие осуждения" мы по совести предпочитали "упойтельным похвалам". Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из под его тирании. Я знал, что как ни полезна мне Мунина строгость, все же, в конце концов, она меня и задушит. Иногда наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону :

-- Нет, прости, не приду.

-- Почему?

-- Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров.

И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.

4. Тень от дыма.

В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще -- просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полупамятки, другие не понимали нас вовсе -- и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы.

Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем, -- и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,

Хоть на любовное свиданье,

Какое - б в сердце ни питал

Ты сокровенное мечтанье, --

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом,

происходили свидания "у звезды": мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда.

Все, что лежало за пределами этой нашей жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муни, как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него "легким бременем": так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, -- и все таки ее нет.

Все, за что брался Муни, в конце концов, не удавалось и причиняло боль, -- потому, вероятно что и брался - то он с тайным страхом и отвращением. Все "просто реальное" было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким то "другим концом" ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал "неприятностями". Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться к действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь, -- он отвечал, морщась: "Ну, к чему это?" Он говорил, что ему противно и страшно "лить воду на мельницу действительности". Но всем, живущим без этого страха и отвращения, он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал :

-- Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпитафию :

Другие дым, я тень от дыма,

Я всем завидую, кто дым.

Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: "А где сейчас Муни? вы о нем ничего не знаете?"

5. Семипудовая купчиха.

Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.

-- Видишь ли, -- говорил он, -- меня в сущности нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.

И кончал по обыкновению цитатой:

-- Моя мечта, это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.

В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает "довоплотиться" в спокойного и благополучного Перееславцева. Сперва это ему удастся, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Перееславцев убивает его.

После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот -- больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни "по причинам полицейского, паспортного порядка".

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы

уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Ю. И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел "Русской Мысли", взял несколько стихотворений незнакомого автора.

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких то совсем уж невероятных положений. Наши "смыслы" становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съели один калач. В довершение всего, Муни бунтовал против Беклемишева ("лез из кожи", как мы назвали), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это -- довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью -- Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой то Державинской пьесы). Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение Беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу "Счастливый Домик" под заглавием "Поэту". Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно -- исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся "в себя", хоть не сразу. К несчастью, "беклемишевская история" и попытки "воплотиться в семипудовую купчиху" повлекли за собой другие, более житейския события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако, мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.

6. Обуреваемый негр.

Муни написал две маленькие "трагедии" довольно дикого содержания. Одна называлась "Обуреваемый негр". Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк -уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: "Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем". И еще: "Это-го ни-че-го не бу-дет".

В последнем действии на сцене, изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет:

-- Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декораций устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.

В этой "трагедии" Муни предсказал собственную судьбу. Когда "события", которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их "слишком реальными" декорациями. Последнею и тягчайшей "неприятностью" реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:

-- Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.

Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами -- в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма "оттуда" были полны отчаяния. "Реальность" надела на него самую страшную форму. Все попытки, высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: „Ведь он в тылу. Чего же еще?“ -- и по-своему было право.

Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25-го марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск, на рассвете 28 марта, Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется "Самострельная".

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

-- Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: "Я слишком часто чувствую себя так, как -- помнишь? -- ты в пустой квартире у Михаила".

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: "наше" не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер.

[Robinson, сентябрь 1926.]